
«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

*Наринэ АБГАРЯН, Мария АНУФРИЕВА, Илья БОЯШОВ,
Оксана ВАСЯКИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ,
Степан ГАВРИЛОВ, Иван ДАВЫДОВ, Женя ДЕКИНА,
Алексей МАКУШИНСКИЙ, Александр МАЛЕНКОВ,
Евгения НЕКРАСОВА, Арина ОБУХ, Ярослава ПУЛИНОВИЧ,
Герман САДУЛАЕВ, Сергей САМСОНОВ, Григорий СЛУЖИТЕЛЬ,
Марина СТЕПНОВА, Маша ТРАУБ*

Наринэ Абгарян, прозаик (г.Москва)

«Я так и живу в тех сказках...»

Это был старый и изрядно истрепанный том в кожаном переплете, с пожелтевшими от времени страницами, полустертыми черно-белыми иллюстрациями и вметанной закладкой из синей шелковой ленты. Край ленты бабушка подпалила спичкой, чтобы ткань не расплзлась, и я часто водила пальцем по обожженному кривенькому рубцу. Армянские сказки. Они отличались от прочих, не менее любимых, каким-то глубинным, невероятно взрослым и немилосердным звучанием. Словно того, кто их придумывал, не заботила судьба историй, словно записывал он их для того, чтобы сразу же уничтожить. Чудес в этих сказках было мало, события происходили будто наяву, и в этой яви было столько беспощадного, что казалось — ничего страшней ее не может быть.

Взять хотя бы сказку о младенце Асларе-Баласаре, где он на следующий день своего рождения вылезал из люльки и съедал все тесто, которое мать замесила и оставила подходить. Чтобы насытить сына, матери пришлось подмешивать в тесто кровь кур. Чуть подросши, Аслар-Баласар съел всех жителей родной деревни. А потом уничтожил свою семью. Дочитав сказку, я прибегала за пояснениями к бабушке. «Почему этот мальчик был таким ненасытным и безжалостным?» «Этот мальчик — человеческие пороки», — объясняла она, мерно вывязывая спицами полосатый шерстяной носок. Я ждала, затаив дыхание. Бабушка довязывала ряд, бралась за другую из черных спиц, поднимала на меня глаза: «Нельзя потакать своим порокам, иначе они погубят весь мир. Ты поняла меня?» Я неуверенно кивала. «Ничего, потом поймешь, главное — запомни, что я тебе сказала», — отпускала меня бабушка. И я снова мчалась к заветной книге, чтобы, перевернув страницу, прочитать сказку о рыбаке, подарившем морскому царю своего единственного сына. «Та-а-ат! — звала я из своей комнаты. — А я у вас единственная?» «Нет, — со смехом отвечала бабушка, — можешь не волноваться, мы тебя никому не отдадим».

Прошло много лет, а я так и живу в тех сказках. Там семикрылые ангелы освещают край неба, рождая северное сияние. Там виноградная лоза растет выше гор, и дотянувшись до облаков, приводит странника к замку чудища, у которого вместо сердца ледяная глыба. Там мать оживляет слезами мертвую дочь, а отец продает душу морскому царю, чтобы выволить из плена своего сына. И везде и всюду меня сопровождает насмешливое и ласковое напутствие бабушки: «Можешь не волноваться, мы тебя никому не отдадим».

Мария Ануфриева, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Книга заговорила со мной обо мне»

В фильмах меланхоличные дети заводят друзей воображаемых, в жизни все проще — всегда можно завести себе друга вполне осязаемого — книгу. Ими и были друзья моего детства, тем более что находились они повсюду. Новые друзья жили преимущественно в библиотеке, иногда с ними так не хотелось расставаться, что приходилось просить продлить дружбу. Поход в библиотеку всегда был сродни ожиданию праздника, на котором получишь подарок, но пока не знаешь какой. И только кажется, что его придется отдавать, на самом деле прочитанное остается с тобой, как съеденная конфета, и всегда можно попросить новую — не откажут.

Читать я научилась рано и как-то незаметно для всех. Первая библиотека, куда меня записали еще в детском саду, была... взрослая, просто потому что находилась в соседнем доме. Там работала дальняя родственница, подбиравшая мне максимально детский репертуар из того, что имелось на полках. Так в шесть лет я познакомилась со Всадником без головы и героями «Молодой гвардии», но настоящие открытия еще были впереди и ждали меня в домашней библиотеке. Сампо-лопаренок и Кнут-музыкант из сказок Топелиуса — мальчики с глазами-звездами в рисунках Тамары Юфы были знакомы каждому карельскому ребенку, как и старый, верный Вяйнямейнен из адаптированного для детей издания эпоса «Калевала». Совершенно естественно они соседствовали в моей голове с Динкой — дочерью революционера, а она — с Джейн Эйр, счастливо появившейся в нашей семье в обмен на макулатуру.

В первом классе настал черед Достоевского. На уроках литературы маялась, дома читала все подряд, и черед настал только потому, что со второй полки книжного шкафа перешла к освоению третьей. Не могу сказать, что «Преступление и наказание» произвело на меня большое впечатление. К тому времени я уже знала толк в литературных ужасах и страстях, да и обрушившийся на голову малоприятной старушенции топор Раскольникова в детском восприятии никогда не перевесит леденящий кровь образ безголового всадника или рассказы Эдгара По, которые категорически запрещено читать, когда сидишь зимним вечером в пустой темной квартире один, но все равно почему-то читаешь, холодея от ужаса. Когда становилось совсем страшно, я выбегала на улицу и ждала родителей с работы у подъезда, а девятиэтажка все еще казалась домом Ашеров, по которому разгуливает Маска Красной Смерти. Словом, душевные терзания Родиона Раскольникова были мне не близки, просто приняты к сведению.

Конечно, сюжеты я воспринимала по-детски буквально, поэтому Достоевский имел все шансы, как говорят на уроках литературы, «быть пройденным», и скорее всего мимо, тем более, что «Братья Карамазовы» и «Идиот» показались мне слишком

увесистыми, а за ними на полке соблазнительно маячили «Похождения бравого солдата Швейка». Но привыкшая к методическому чтению всего печатного — от газеты «Известия» и журнала «Огонек» по подписке, я решила освоить еще одну книгу в неприметной, шершавой на ощупь обложке — роман «Подросток». И свершилось чудо: книга заговорила со мной обо мне. Мнительный, нервный, косноязычный герой признавался в том, о чем думала я или только собиралась подумать. Выходит, Достоевский мог знать, что творится у меня в голове? Это было по-детски наивное и искреннее изумление. Герой жил романной жизнью, решал свои проблемы, но во всех своих проявлениях — был мной. Под его горькой, язвительной самопрезентацией я готова была подписаться: и меня никто не понимал, и я хранила в душе больше, чем могла высказать, и у меня были сокровенные идеи, и людей я не любила, как подросток Долгорукий, особенно одноклассников и ровно в тех же выражениях. О, как тысячу раз прав и дальновиден Достоевский!

Я взяла карандаш, вернулась к началу и стала подчеркивать «свои» мысли, о которых каким-то образом узнал Достоевский: задолго до моего рождения, я проверила в энциклопедии. Кажется, именно тогда я впервые подумала, что литература — это не просто увлекательно рассказанная история, а нечто большее: таинство узнавания себя в героях, разговор по душам, мучительно прекрасное упоение написанным, когда кажется, что сказал бы так же, но, но, но...

Илья Бояшов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Литературный конвейер

Одной из первых моих книг, которую хорошо помню лет с трех, которую в детстве цитировал и знал наизусть (да и сейчас готов многое из нее цитировать), была подаренная отцом в далеком 1963 году прекрасно оформленная книга «Конёк-Горбунок» Петра Ершова. Особенно поражали ее картинки — яркие, разноцветные, веселые. Но и стихи запали в душу:

Не на небе, на земле.
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший — умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Пожалуй, «Конёк» явился чуть ли не единственной книгой, которая принадлежала лично мне (детские копеечные книжки-стишки Агнии Барто не в счет, «Крокодил» и «Бармалей» Корнея Чуковского в мягкой обложке — тоже). В то время хорошую детскую книгу, на хорошей бумаге, богато иллюстрированную, было практически не купить, поэтому остальные детские «фолианты» отец приносил из библиотеки Ленинградского Дома композиторов. Библиотека была уникальной: вся, без исключения, детская литература, выходившая в СССР в 60-е годы, обязательно в ней прописывалась. Мне здорово повезло. Отец, сам большой любитель чтения, следил за новинками, библиотекари к нему благоволили, и я становился чуть ли не первым читателем новых поступлений (а может быть, даже и первым).

Помню, с каким нетерпением ждал отцовского возвращения с работы в те дни,

когда он обещал в библиотеку «непреренно заглянуть». Благодаря тому, что отец рано привил мне любовь к чтению, заработал настоящий литературный конвейер: родитель бесперебойно доставал «дефицит», его отпрыск читал. Так, уже в пятилетнем возрасте я познакомился с целой серией книг про девочку Элли («Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей» и т.д.) Александра Волкова с прекрасными рисунками Леонида Владимировского. Лет в шесть-семь запоем глотал «Чука и Гека» Гайдара, следом — «Мальчиша-Кибальчиша», «Судьбу барабанщика», «РВС» и «Голубую чашку». Мне очень нравились осеевский «Васёк Трубачёв» и «Армия Трясогузки» Александра Власова и Аркадия Млодика. Феерические «Три толстяка» горячо любимого мною и сегодня Юрии Олеши тоже оставили, как говорится, неизгладимый след. Я был в большом потрясении от носовского «Незнайки», а уж «Незнайка на Луне» стала одной из самых моих любимых книжек. Более того: это только благодаря ей я встретил приход отечественного капитализма подкованным на «все четыре ноги», чего нельзя сказать о многих моих соотечественниках, понятия не имевших о «тамошних нравах» и в лучшем случае доверчиво вложивших бумаги в различные фонды, где правили бал жулики, весьма смахивающие на жуликов литературных.

Что же касается «заработавшего литературного конвейера» (он действовал все восемь лет моего нахождения в начальной и средней школе с первого до восьмого класса включительно), можно приплюсовать сюда «Приключения капитана Врунгеля», «Карлсона, который живет на крыше», «Пеппи Длинный Чулок», «Приключения Чипполино», «Приключения Буратино», «Приключения Пиноккио», а чуть позднее «Белеет парус одинокий» Катаева, «Республику ШКИД» Л.Пантелеева, «Спартак» Джованьоли, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Дон Кихота» Сервантеса (детский вариант), «Тиля Уленшпигеля» Костера, «Робинзона Крузо» Дефо, «80 тысяч лье под водой» Жюль Верна, «Трёх мушкетеров» Дюма, «Хижину дяди Тома» Стоу, твеновского «Тома Сойера», «Овода» Лилиан Войнич, наконец, мелвилловского «Моби Дика» с иллюстрациями Рокуэла Кента.

Наряду с этим я взахлеб «поглощал» Сергея Алексеева, непревзойденного мастера детского исторического рассказа. Его сборники, посвященные Степану Разину, Суворову, войне 1812 года, декабристам, революции, Гражданской и Великой Отечественной войнам, настолько великолепны, что помню их до сих пор. Пожалуй, не было ни одного крупного исторического события в жизни страны, которое Алексеев не пытался бы отобразить. Я по сей день ему благодарен за привитую любовь к отечественной и мировой истории.

Фантастикой, честно говоря, не интересовался. Вот почему Кир Булычев с его «Алисой», Грин с «Алыми парусами», Иван Ефремов и другие детские и юношеские фантасты остались вне поля моего литературного зрения. Из всей советской и мировой классики этого жанра помню лишь Сергея Снегова с его романом «Люди как боги» и Герберта Уэллса («Машина времени», «Человек-невидимка» и «Первые люди на луне»). Надо признать, что и Снегов, и Уэллс меня впечатлили, но далее дело как-то не пошло...

Что еще сказать? В моей «детской жизни» были сотни, если не тысячи прекрасных книг: сказки народов мира, рассказы и повести писателей того времени. Имена большинства литераторов 60—70-х годов, к великому сожалению, я уже позабыл, но тем не менее их повествования о дружбе, взаимопонимании, любви к братьям меньшим и к природе, смутно, время от времени, мною воспоминаемые, и сейчас греют душу...

В памяти осталось то, что осталось.

Оксана Васякина, поэт (г.Москва)

Манифест нежности

Бабушка рассказывала, что я, трехлетняя, проснувшись раньше всех, выходила из своей кровати, брала книгу с французской песенкой про ослика, иллюстрированную Эриком Беньяминсоном, и шла будить маму. Я говорила ей: «Мам, титай», — и она в полусне несколько раз подряд читала ее мне. Я знала эти стихи наизусть, знала все одежды, которые сочинила для больного ослика хозяйка. И бумажные сапожки, и наколку в кружевах, и фланелевую куртку. По этой книжке я научилась читать.

Удивительное дело, я до сих пор иногда размышляю о том, как больному животному могут помочь пуховые подушки. А еще задумываюсь о том, действительно ли ослик был болен? Может быть, хозяйка — глубоко одинокая женщина, она пыталась передать все накопленное тепло существу, которое покорно может его принять. По сути, эта забота — пустая, ослику, если он все-таки болен, нужен врач, нужен ослиный врач, который поставит укол, сделает примочки из антибиотиков, даст пилюли от паразитов. Я представляю, как женщина-селянка сидит и аккуратно подшивает шелк на воротничок. Откуда у селянки башмаки на каблуках и шелк? Все эти размышления в духе профанной психологии об одинокой женщине с синдромом гиперопеки и, не дай бог, с делегированным синдромом Мюнхгаузена не отменяют одной очень важной вещи, которую дала мне эта книга в детстве.

Эта книга стала для меня манифестом нежности. В детстве я представляла себе, как хозяйка аккуратно застегивает на шее ослика шелковый воротничок, он постоянно сползает, она терпеливо его поправляет. Она смотрит в глаза своему ослику, она любит своего ослика. Животное шевелит ушами, переступает с ноги на ногу, и хозяйка ладонями гладит его серую шерсть, что-то поет. Это очень грустная история про то, как человек на языке человеческой заботы старается донести животному свою любовь. Есть ли язык для всех живых существ, на котором можно говорить о переживаемом чувстве? И можно ли вообще передать живому существу свою любовь? Наверное, можно, таким нелепым, беспомощным способом — принести в хлев, где навалены солома и навоз, шелковые ленты, пуховые подушки, кружева...

И почему ослик? Ведь ослик — самое нелепое, самое упрямое, самое непослушное выючное животное. Как можно любить ослика? Как можно испытывать к нему жалость, нежность, что угодно? А вот так. Нужно просто любить ослика, потому что ослик не боится быть смешным и нелепым. Он не гордая лошадь, он не полезная корова, он не человек, он просто ослик. И кажется, что ослика труднее всего любить.

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист (г.Москва)

«Я полюбил миледи»

Когда я учился в школе, у нас недалеко от дома был пункт приема макулатуры. Там за какое-то количество килограммов тебе давали талон на приобретение дефицитной книги. (Сейчас пишешь и сам удивляешься: как же мы во всем этом жили?)

Я помню этот вечерний закуток, синий снег, фонари и тетку. Тетка мне дала талон на приобретение «Трех мушкетеров». «Как я тебе завидую, — сказала мне моя

бабушка. — Ты прочтешь эту книгу в первый раз и полюбишь Атоса, Д'Артаньяна и Арамиса». Но я их не полюбил.

Я полюбил миледи.

Бедная девочка, клейменная без суда и следствия, привязанная к дереву в окончательно разорванном платье (когда лилия обнажилась случайно во время неудачного падения с лошади во время охоты), даже не пришедшая в сознание, чтоб хоть что-то сказать в свое оправдание, что-то объяснить.

Как она выжила, как отвязалась, как смогла добраться до ближайшего города (дальше, дальше от поместья ее бывшего мужа), сколько унижений и опасностей вынуждена была пережить? Как она смогла стать потом тем, кем стала — леди Винтер? Как смогла пробиться в тайные агенты кардинала?

Я читал тогда эту книгу, купленную за сданную макулатуру, и понимал, что миледи гениальна. А часть книги, где она замысливает и осуществляет побег из замка лорда Винтера (ей не везло на мужей) вместе с охраняющим ее лейтенантом английского флота Фельтоном, которого она соблазнила, даже не переспав с ним, лучшая. Мне до сих пор жаль, что никто не снял фильм по этой части: без всяких мушкетеров, без всякого Ришелье, просто историю, как миледи за дней десять смогла избежать отправки в Америку — а мы знаем, что это тогда была за Америка. Там уже умирала одна героиня другой книги. «Среди дюжины девиц, скованных по шесть цепью, была одна, вид и наружность которой мало согласовывались с положением». Это из «Манон Леско». Ее потом закопает безутешный возлюбленный шпагой, когда уже наконец, слишком поздно, найдет. Но миледи не хотела быть закопанной шпагой.

— Доблестные господа! Вы, четверо мужчин, собрались для того, чтобы убить одну слабую женщину! — так кричала она в лицо своим палачам на том ночном озере в самом конце книги.

И еще крикнула:

— Вспомни, Д'Артаньян! Я же любила тебя.

И Д'Артаньян рванулся. Хотя только несколько дней назад он узнал, что его Констанция мертва. Рванулся с такой силой, что Атос был вынужден ему сказать: «Еще один шаг, и мы вынуждены будем с вами скрестить шпаги».

Всего лишь один ее крик — и он был готов забыть ей смерть Констанции, и клеймо, и даже попытку убить его самого.

Неудивительно, что она так презирала их всех.

Потому что они не стоили даже пряди ее белокурых волос. Не говоря уже о ее белоснежном плече, которое они изуродовали.

Степан Гаврилов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Магия» всегда со мной

«МАГИЯ. Секреты сибирской целительницы». Большая, увесистая, в плохом синем переплете, напечатанная на серой, рыхлой бумаге, — вот главная книга моего детства.

Сейчас-то я прекрасно понимаю, как именно она появилась на свет. Девяностые, общий упадок. Издатель решает сработать на «магическом» тренде: по причине зашкаливающего уровня тревоги общество дружно обращается к сакральному знанию.

Я ясно вижу истинных авторов этой книги. Никакая это не сибирская целительница, конечно же. Это два приятеля, два молодых веселых раздолбая, выпускники филфака. Назовем их для удобства Толик и Игорёха.

Талантливые, неглупые парни, ангажированные циничным издателем, приступили к составлению справочника по домашней магии. Приступили безотлагательно. Им очень нужны были деньги. Сторожить овощи на складе вконец надоело, да и грядущим летом в Крым с девчонками хотелось.

Начиналась книга с введения: *«Что мы вспоминаем при слове “магия”? Кто-то из нас вспоминает бабу Ягу из русских сказок, кто-то — Мефистофеля Гёте. Магией пронизаны произведения Толкина. А, например, с плутоватым мексиканским колдуном доном Хуаном из книг Карлоса Кастанеды наша страна познакомилась не так давно...»*

Вот тут сразу стоп. Чуете размах? Толик и Игорёха легкой рукой составили мне список литературы на годы вперед. Если к Толкину я тогда приступил почти сразу, с Кастанедой стал знакомиться в юности, то «Фауста» прочел совсем недавно.

Далее в книге шли теория, рассказы, комментарии, байки и прочая, как это сегодня называется «крипота». Толик и Игорёха создали крепкую, мощную вещь, которая целиком овладела моим воображением. Я с ней спал и ел, я таскал ее в школу и на прогулки. Я прочел ее вдоль и поперек.

Конечно же, центральное место в книге занимали заговоры и гадания. Толик и Игорёха, я уверен, любили эту часть больше всего: ведь написанные в столбик, на манер стихов заклинания занимали больше места на полосе, а значит и трудиться приходилось не так интенсивно. Для составления заговоров пацаны соединили библейский язык и народные просторечия, особо не задумываясь, какому региону России они принадлежат. Оно и понятно: Толик приехал из Краснодара, а Игорёха — из Кемерово.

Толик и Игорёха прекрасно чувствовали: на Руси христианство навсегда останется в тугой сплавке с язычеством. Поэтому хтонические обитатели типа старичков-лесовичков, албасты и прочих домовых соседствовали с христианскими святыми («кикимора сидит на груди, Пресвятая Богородица спаси...» и т.п.). Но литературный талант парней состоял в более смелых экспериментах с языком. Поэтому ни редактора, да и никого из читателей, я уверен, не смущало, что нечисть делит место в заговоре не только с Христом, но и, например, с почти медицинскими терминами: «прямая кишка», «опухоль», «бронхит» («в бронхах хворь...»). Так, дерзко соединяя языковые пласты, Толик и Игорёха создали магический язык, ведь как сказал классик: «для спасения души все святые хороши».

С помощью книги можно было вылечить и навести запой, подагру, мужское бессилие, можно было навести болезни, можно было вылечить все известные науке заболевания вплоть до рака матки. Отдельный корпус текстов был посвящен работе с материальными благами: чтобы корова благополучно отелилась, чтобы машину купить, чтобы деньги водились и так далее.

С этой книгой моя жизнь изменилась. Во дворе я лечил сверстникам синяки и ссадины. Одной девочке заговорил косоглазие, другому мальчику — заикание. Семья из соседнего подъезда благодаря моим стараниям купила машину. Слух обо мне распространялся стремительно. Одной старшей девушке из другого района города я приворожил парня. Это была моя локальная слава. Никогда больше я такого не чувствовал.

Знаете что? Когда в интернете я увидел новость про роскошные часы нашего патриарха, я лениво пролистал дальше. Мне ли, как бывшему работнику духовной сферы, его не понять? О чем вообще скандал, уважаемая либеральная общественность? Вы даже никогда не заговаривали другу бородавок! Кто вы такие, чтобы судить?

Дело шло дальше. Однажды меня пригласила к себе баба Маня. Обычно суровая и сварливая, она почему-то была улыбчива и светла, накормила черствыми пряниками, напоила чаем. А потом перешла к делу. Я не помню, в каких фразах она объяснила суть проблемы, но я сразу поставил диагноз: «рак матки». Перед основательным осмотром

мне надо было освежить знания, и я отправился домой за своей книгой и за кое-какими атрибутами.

Чем бы закончилась эта история, если бы мамы не было дома? Увидев мою оживленную деловитость, она поинтересовалась, чего это я задумал. Я и ответил.

С того момента «Магия» в нашем доме была под запретом.

Когда спустя несколько лет у сверстников стала популярна серия про Гарри Поттера, я пришел в недоумение. Я чувствовал в этой книге какую-то фальшь. Ладно бы блеклый стиль повествования, которому не сравниться с сочинениями Толика и Игорёхи! Но Джоан Роулинг не понимала главного. Истинный маг ежедневно работает с человеческими чаяниями и страданиями, истинный маг — это боль и нерв своего народа. Маг не может презренно называть людей «маглами», не может быть со стороны. Эту мысль я потом нашел у Лосева в «Диалектике мифа». Миф не познается объективно. Нужно быть изнутри. Я и был изнутри.

Будь Гарри Поттер настоящим волшебником, он бы остался в своем чулане. Он бы вылечил подагру дяде Дурслю, парой заговоров он бы восстановил чувства дядюшки к его невзрастеничной женушке. В их доме царили бы любовь и гармония. А это ли не волшебство?

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Толику и Игорёхе за удивительное детство и за то, что настоящая магия теперь всегда со мной.

Иван Давыдов, журналист, поэт (г.Москва)

Чума и голод для самых маленьких

Она попала мне в руки года через три после своего появления в России, а издали ее в 1981-м. Сейчас это все вообще выглядит историей не очень понятной — почему решили перевести? Почему эту жестокую книгу выпустила «Детская литература»? Нынешние защитники детей от жизни непременно налепили бы ярлык «18+» или даже запретили. А вот в тоталитарном Союзе случались такие чудеса. Может, все, конечно, из-за того, что Тонино Гуэрра был большим другом Союза. А может, просто повезло. Да, определенно повезло.

Книгу принесла мама: «Вот, что-то про рыцарей, тебе понравится». Тонино Гуэрра и Луиджи Малерба. «Истории тысячного года». Фамилии авторов мне ничего не сказали, разумеется, да и мама, рискну предположить, не знала, что первый писал сценарии для Феллини, Антониони и Тарковского, а второй — известный дома, в Италии, неоавангардист.

Зато на обложке — три странных человека с громадными носами, из которых один — в доспехах. Что-то про рыцарей. Внутри — они же, и другие, тоже странные, и тоже все с большими носами. В доспехах, в рванине, в мантиях. И все пытаются друг друга убить. Шпаги, копыя, вертел. Костер, в котором горят. Река в которой тонут. Михаил Ромадин явно оттянулся, когда это все рисовал. Дал себе волю. Угадал, увидел за словами ровно то, что хотели сказать два веселых итальянца.

Ну, конечно, я начал читать. «Ворон покружил над полем боя и, когда утих шум и грохот, полетел предупредить стаю. Уцелевшие воины умчались, кто на конях, а кто и на своих двоих, а те, кто остался неподвижно лежать на земле, безмолвствовали. Никто даже не шелохнулся, и хоть у некоторых глаза и рот были открыты, они не произносили ни слова и ничего не видели. Вокруг царили тишина и покой, струи дыма

от горящего сухого кустарника и подожженных повозок вздымались ввысь. Повозки горели вместе с конями, дым клубился в небе и растекался серой предгрозовой тучей. А потом прилетели черный дрозд и сорока и принялись за дело. Они всегда прилетают первыми, даже раньше воронья и грабителей. Дрозд выклевывал у мертвецов глаза, а сорока искала золотое сверкающее кольцо, но ничего похожего не нашла среди железного хлама: копий, шпаг, алебард и продырявленных, пыльных кольчуг».

В общем, Лев Вершинин, переводивший книгу, тоже явно наслаждался текстом. И да — спасибо странностям советской издательской политики за наше счастливое детство. Нет, определенно, теперь так уже не делают. Разучились. Не смеют. Разве ж можно такое? Деточка же может заплакать. Получить психологическую травму. Просто расстроиться.

Одна молодая мать недавно жаловалась мне, что не может читать детям Пушкина. Там ведь, в «Сказке о мертвой царевне», эти чудовищные строки!

Перед утренней зарёю
Братя дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.

Ужасно, действительно. Как мы после всего этого выжили, просто непонятно. Хорошо, что есть теперь сознательные матери, разнообразные активисты и профильные федеральные агентства, готовые спасти детей от этого кошмара. В общем, современных детей жалко, а мы вернемся в средние века.

Три человека с невообразимыми именами — их зовут Тысячехух, Початок и Недород — встречаются на поле отшумевшей битвы и от безысходности становятся друзьями. Начинается их путешествие без конца. Никаких возвышенных материй — они просто ищут еду. На протяжении всей книги и всего своего жутковатого и смешного пути они ищут еду. Их мечта — наесться досыта.

А вокруг — Европа тысячного года, ждущая конца света. С религиозными шествиями и бесконечными войнами. С чумой и казнями. И с голодом, конечно. Голод — четвертый главный герой в этом повествовании.

Текст — колючий, слова царапают глаза. И картинки колючие — может, из-за обилия холодного оружия в руках у большеносых людей, а может, просто потому что художник сумел почувствовать текст. И все это — страшно. И увлекательно. И удивительно. И невероятно смешно.

Юмор тоже колючий, родом как раз оттуда — из средневековой Европы, где вчерашние варвары любили играть словами и во всем прозревали символы. Где слову верили больше, чем собственным глазам, и считали, что слова, расставленные в правильном порядке, творят мир. Не особенно, кстати сказать, уютный мир, но другого у нас все равно нет.

Авторы своих героев не щадят, потому что ведь и мир, по которому они бродят, тоже никого не щадит. Не щадят, но любят, и книга — у которой нет счастливого финала, или даже вовсе никакого финала нет, — превращается в оду настоящей дружбе.

Мир зол, а человек хрупок, вот что они, пожалуй, нам говорят. Жизнь ничего не стоит, но тем она дороже. И если к ней относиться легко и весело, страха в ней будет не меньше — просто страх хоть на время перестанет ею править.

Многим странным в себе я обязан этой книге — от неослабевающего интереса

к средневековой истории и до тяги к безжалостным шуткам. Не то чтобы я научился шутить так же, как шутят Гуэрра и Малерба над своими героями и своими читателями, но я старался. Я учился. Я даже не знаю, сколько раз я в детстве царапал глаза об этот колючий текст. А потом книгу взял у меня почитать приятель и не вернул. Семья его переехала в другой город, ну и в суматохе... Понятно, в общем, как это бывает. Мы бредем сквозь недобрую жизнь, наши книги тоже, иногда дороги расходятся, мы теряемся.

Я даже тосковал по ней, как тоскуют по человеку. Искал в библиотеке — и не нашел. А потом — взрослым уже человеком — встретил в букинистическом. И обрадовался книге. Много лет уже — снова, как раньше, — бредем вместе. Больше, надеюсь, она меня не бросит.

Мир, в котором мы с ней бродим, конечно, покомфортнее, чем мир Тысячехуха, Початка и Недорода. Но безумия и зверства в нем тоже хватает. И раз уж все так, лучше рядом иметь проверенного старого друга. Едва ли спасет от беды, но мы хотя бы посмеемся над бедой вместе, а это, знаете ли, тоже немало.

Женя Декина, прозаик (г.Москва)

«БОГОВ МНОГО, И У НИХ СВОИ ОТНОШЕНИЯ»

Очень хотелось бога. С богом ты уже совсем взрослый и знаешь не только фамилию, адрес, как появляются дети, но и кто тут главный. Главнее Горбачева. С богом ты не один, он за тобой постоянно присматривает, с ним можно поговорить и попросить о чем-нибудь. Про пятерку или чтобы найти на улице еще денег. Как-то я нашла три рубля. Это было много, потому что хлеб стоил 51 копейку. И это я сама нашла, без бога. А с богом наверняка будет побольше.

Первая в городке двенадцатиэтажка заселялась медленно, и поговорить можно было только с бабками во дворе. Оторванные от привычных огородов, соседей и внуков, они сидели во дворе и воспитывали всех, кто попадался под руку. Например, меня. Воспитание заключалось во внедрении в мою голову мысли о том, что коммунисты (это красивые сталевары из буквара) говорили, что бога нет, а он на самом деле есть. И надо в него верить. Родственники с маминой стороны говорили, что верить надо в Аллаха. Аллаха бабки не любили еще больше, чем коммунистов. Родственники не любили бабок и сводили меня в мечеть. В школе всем раздали маленькие библии. Мама тут же заболела и выкинула библию в окно: она была с измененным текстом — издана не церковью, какими-то сектантами. Отцовские родственники оказались иеговистами и говорили, что я буду гореть в аду, если выберу неправильного бога. А правильный Иегова. Я плохо спала. Надо было срочно выбрать. Но как? Как можно выбрать из тех, кого никогда не видел? Выход я нашла. Я хотела зарезаться, умереть, посмотреть быстренько, кто там на самом деле сидит, выбрать правильно и всем об этом рассказать, чтобы они тоже правильно выбрали. Мама спрятала все ножи в доме. Отец забывал, куда, и психовал. Я выжидала. После Нового года мы поедem к деду. А он мне доверяет и не прячет от меня ножи.

Но на Новый год мама подарила мне книгу. «Мифы древней Эллады» Немировского. На форзаце была целая божественная родословная — кто кого родил и от кого родился. То есть много. Богов много, и у них там свои отношения — свадьбы, похороны, вражда. Значит, и Аллах есть, и бог старушек, и Иегова, они просто воюют. И люди, в них

верящие, из-за этого воюют тоже. Идеально. Более того, мифы были поделены по регионам, и перед каждой главой объяснялось, в чем отличия. И это тоже было хорошо — очень похоже на то, как люди за глаза ругают кого-нибудь — каждый знает только кусочек, а правду не знает никто. И сами мифы, описанные сухим канцелярским языком, только жуткие факты — это было слишком похоже на перестроенную реальность. Геракл отрубил гидре голову и прижег горящим поленом, чтобы новая не отросла. Отец одноклассника прижег его маму кипятильником. Гера наслала на Ио гигантского шершня. Тетенька из первого подъезда избивала любовницу мужа. Сцилла и Харибда сомкнулись, корабль не успел проскочить. Кто-то бросил камень с балкона и пробил Вовке с 12-го этажа голову. Я выбрала. Я верила в древнегреческие мифы. Мой мир был таким. И Немировский был моим Моисеем.

*Алексей Макушинский, поэт, прозаик, литературовед
(г. Майнц, Германия)*

Котики на Командорских

Серенькая книжка, уже готовая развалиться. Давно пожелтевшие, там и сям порванные страницы, их неискоренимый запах — пыли, времени и беды. Ее, похоже, украли из библиотеки — еще до моего рождения. На форзаце в мелких рисуночках (цветочки, птички, ружья, колониальные каски, корабли, якоря, впридачу к ним почему-то бутылочки, рюмочки) — косо наклеенный зеленовато-жухлый листочек с сообщением, что «книга должна быть возвращена не позже указанного здесь срока» (никакой срок не указан). На том же листочке, мелкими буквами: «Колич. пред. выдач» (никаких выдач не было). Наконец, все там же: «Вологда, тип. „Сев. Печатник“. Зак. 103». Это только листочек отпечатан в Вологде, сама книга — «в тип. им. Володарского, Фонтанка, 57». На титульном листе — прямоугольная черная печать «ЦЕНТРАЛЬН. БИБЛИОТЕКА МОСОБЛАСТКОМА Проф. Союза Работников Гос. Учреждений»; затем печать синенькая, маленькая, совсем косенькая «ПРОВЕРЕНО». Еще есть на форзаце бумажный кармашек, куда, видно, вкладывались какие-то карточки; еще, там и здесь, выведенные фиолетовыми чернилами цифры (31905 — перечеркнуто; 8193; К-42).

Книга моего детства? Да, одна из любимейших; одна из немногих, сохранившихся у меня после всех потерь и переездов.

Редиард (sic!) Киплинг. Избранные стихи. Перевод с английского под редакцией Вал. Стенича. Вступительная статья Р. Миллер-Будницкой. Государственное издательство «Художественная литература», Ленинград, 1936.

Я платил за твои капризы, не запрещал ничего.
Дик! Твой отец умирает, ты выслушать должен его.

Первое стихотворение — «Мэри Глостер» — в переводе А. Оношкевич-Яцына (именно так сказано в оглавлении) и Геннадия Фиша. Разумеется, в десять лет я в оглавление не заглядывал и уж точно не задавался вопросом, почему они присобачили мужское окончание родительного падежа к фамилии за год до этого издания, в 1935-м, скончавшейся переводчицы Ады Ивановны Оношкевич-Яцыны. В десять лет я вообще не задумывался о том, кто переводил, редактировал, издавал эту книгу; разве

что двойные фамилии (Миллер-Будницкая, Оношкевич-Яцына) меня занимали и забавляли; сливались в одно странное целое, такое же, в сущности, экзотическое, как другие, встречавшиеся в книге, имена и названия (Фуззи-Вуззи, Джаун-Базар, Хайберский Проход).

Доктора говорят — две недели. Врут твои доктора.
Завтра утром меня не будет... и... скажи, чтоб вышла сестра.

А эту книжку делали люди если не всегда замечательные, то всегда примечательные; например, Елизавета Полонская, переведшая знаменитую «Балладу о Востоке и Западе», ученица Гумилёва и Лозинского; Михаил Фроман; Михаил Гутнер, составитель не менее знаменитой «Антологии новейшей английской поэзии», вышедшей через год, в 1937-м. Ада Оношкевич-Яцына тоже была ученицей и Гумилёва, и Лозинского; с Лозинским ее связывали, кажется, отношения более близкие, чем это обычно бывает между ученицей и учителем. Все это были люди поздне-акмеистические, иными словами; последние представители той великой культуры, которую как раз и уничтожали у них на глазах, в их лице. Валентин Стенич, с которым, если верить семейным преданиям, моих дедушку и бабушку связывали отношения почти дружеские, герой блоковского эссе «Русские дэнди», замечательный переводчик, одна из знаковых (как бы теперь сказали) фигур литературного Ленинграда, арестован был в ноябре 37-го, расстрелян в 38-м. Все прочие, если не ошибаюсь, террор пережили, умерли своей смертью, хотя головы летели, разумеется, рядом, «воронки» и «маруси» приезжали за соседями, родственниками, друзьями. А с каким чувством они читали, переводили, редактировали строки из «Стихов о трех котиколовах» — моих любимых, в мои десять лет — про «законы Москвы»?

Подтвержденные пулей и сталью, таковы законы Москвы:
Котиков на Командорских трогать не смеее вы.

Они их все-таки тронули, где-то там, в арктических пустынях, контрабандисты, воры и браконьеры, истребляющие друг друга, какой-то Том Холл, какой-то Рубэн Пэнн, капитаны «Балтика», «Штральзунда» и «Норзернлайта», больше всего на свете, больше морозов, и льдов, и ножа, и гарпуна, и тумана, и айсберга, и «пули дум-дум» (о, эта «пуля дум-дум», что «ударил Тома в пах», — как она волновала воображение! слово «пах» волновало его не менее сильно) — больше всего этого боявшиеся, что их застигнет, настигнет русский крейсер.

Ибо таков закон Москвы, я худшую смерть предпочту
Труду на ртутных рудниках, где зубы крошатся во рту.

Как это звучало в 1936-м, посреди Большого террора? В 1970-м это звучало потрясающе. И ведь что-то я уже понимал, о чем-то уже догадывался, как если бы история (даже скажу: История) уже втайне входила в мою жизнь, преображая ее; но главное было, конечно, экзотика, энергия, авантюра. Через сколько-то лет, в пятнадцать, в шестнадцать, так прочитан был Гумилёв. В десять Гумилёва еще не было, был зато Киплинг. Поэзия, повторюсь, была в самих названиях, всех этих Штральзундах и Норзернлайтах, этом каком-то Патерностере, возле которого «в тихой, синей воде» спит Мэри Глостер, этом форте Букло, Абазае и Бонаире, мимо которых скачет Камал, укравший «кобылу полковника, гордость его» (эта «кобыла» тоже пленяла воображение. Кобыла полковника! Скажи мне сейчас кто-нибудь «кобыла полковника», я вздрогну и вспомню все, все мое детство, всех его персонажей).

Проскачет он в сумерки Абазай, в Бонаире он встретит рассвет,
И должен проехать близ форта Букло, другого пути ему нет.

И если помчишься ты в форт Букло, летящей птицы быстрей,
То с помощью божьей нагонишь его до входа в ущелье Джагей.

Но если он минул ущелье Джагей, скорей поверни назад:
Опасна там каждая пядь земли, там Камала люди кишат.

Экзотика, чувство большого мира. Это был большой мир, таинственные места, бесконечно далекие от брежневской Москвы, Кутузовского проспекта, английской школы №5, куда я сначала ходил, английской школы №27, куда перешел в шестом классе. На каком-то школьном вечере читал я (самому не верится, но помню точно) стихи про «Холерный лагерь».

В наш лагерь холера пришла — она ста боев злее,
И мы умираем в пустыне, как древние иудеи.

Упоминание об «иудеях», даже «древних», было, конечно, антисоветским выпадом, и я это уже понимал, но ничего, «проканал», учителя с завучем, быть может, и вздрогнули, но виду не подали. Я читал громко, уверенно, перед огромным актовым залом, с чувством внутреннего торжества и победы.

Смеялись бы обезьяны, на наши дела смотря, —
Как ротные командуют и суетятся зря.
Ефрейторы и сержанты — словно в бою, точь-в-точь.
Но всё, чего мы добились, — десять смертей в ночь!

Вот так и вы, учителя с завучем. Ничего-то вы не добьетесь... Меня захватывал ритм; он меня и сейчас захватывает; сейчас даже более всего остального. Это ритм широкий, длительный, ритм «долгого дыхания» — и в то же время ритм прерывистый, ломающийся, сбивающийся. Он убаюкивает — и тут же расталкивает тебя. Этот длинный дольник с парными рифмами, где-то на грани между стихами и прозой — отградное противоядие от той монотонности, которая так часто, увы, бывает свойственна русскому стиху. Может быть, эти переводы, со всеми их с тех пор отмеченными ошибками, суть прежде всего достижение ритмическое. В знаменитой «Пыли» в переводе Оношкевич-Яцыной (переводе, о котором можно было бы написать отдельное исследование: его, возможно, правил сам Лозинский; по другой версии, его испортил после смерти Оношкович-Яцыной Геннадий Фиш; все это сейчас не имеет для нас значения) — в этом переводе (таком, каким мы его помним) тоже есть этот перебой, эта синкопа:

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — всё по той же Африке.
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Хочется прочитать: «И отпуска...» В трех строфах из восьми (а каждое четверостишие завершается этой формулой) в самом деле появляется «и», но в остальных пяти строфах его нет, и это придает стиху дополнительную прелесть и мощь, заставляет всей силой солдатской тоски по отпуску произнести это слово: отпуска! Пыль есть, отпуска нет... Отпуска нет (вообще нет) на войне. В десять лет я этого не понимал, но я это чувствовал. Учился ритму по этим стихам.

Не мог, однако, не заглянуть в предисловие: «В своих стихах Киплинг развертывает законченную фашистскую концепцию будущего западного мира. Он рисует

реакционно-утопические картины торжества британского империализма в новых мировых войнах...» Не чудо ли? А дальше как хорошо: «Поэзия Киплинга исторически сложилась в эпоху расцвета британского империализма, как его апологетика и пропаганда; но в наши дни она становится одним из истоков, питающих „идеологию“ английского фашизма. Неслучайно, что именно сейчас, во время необычайного напряжения классовой борьбы...» — ну, и так далее. Миллер-Будницкая, ах, Миллер-Будницкая, не стыдно было вам писать эту чушь? Видно, в 1936 году Киплинга иначе издать уже было невозможно. Надо знать своего врага, вот только затем мы его, мол, и печатаем. Любили же его как друга, как брата, если я правильно понимаю. И вот это, пожалуй, самое страшное во всей нашей истории. Сквозь идеологический идиотизм этих формулировок просвечивает, увы, горькая правда. Дело даже не в том, что Киплинг и вправду «воспевал» Британскую империю, ее строителей и героев, «бремя белых» и все такое прочее; дело в том соблазне силы, который исходит из его текстов. Если сильный с сильным, лицом к лицу... Ни к какому «английскому фашизму» он, конечно, не имел отношения, хотя и в самой Англии поколения левых литераторов бросали ему в лицо эту бранную, а потому уже и тогда довольно бессмысленную кличку — «фашист», но «сила» его действительно восхищала, «воля» его влекла:

Уже давно всё пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: «Иди!» —

а в апологии силы, прославлении воли всегда, увы, есть что-то тоталитарное. Триумф воли... Не потому ли он так пришелся ко двору и по вкусу в стране стальных рук-крыльев и пламенных моторов вместо сердца? Можно (и нужно) было проклинать его в предисловии, но сами тексты были куда как созвучны советскому тридцать шестому году. А моему десятому или одиннадцатому? В детстве сила нас соблазняет. Мы потом всю долгую жизнь излечиваемся от детских соблазнов. Хочу все-таки верить, что любил его не за это. Важнее была прелесть неведомого, зов сказочных стран:

Возле пагоды Мультмейна, на восточной стороне,
Знаю, девочка из Бирмы вспоминает обо мне, -
И поют там колокольцы в роше пальмовых ветвей:
Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей.

О девочках я еще не думал, но Мандалей уже манил...

Александр Маленков, журналист, прозаик (г.Москва)

Гуд-бай, Луна!

Я сказал маме:

— Послушай, как смешно!

И зачитал такой пассаж:

«Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, Козлик подбежал к ручкомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок, требовавший уплаты за воду.

— Ах ты, ненасытная утроба! — выругался Козлик. — Я ведь с тобой расплатился уже! Ну, на, жри, если тебе мало!»

Меня каждый раз смешила эта «ненасытная утроба», и я жаждал разделить восторг с мамой. Она пожала плечами.

— Он не очень хорошо пишет. Хотя детский писатель — это отдельный талант. К литературе прямого отношения не имеет.

Или как-то так она сказала. Что-то в этом духе. Прошло 35 лет, странно, что я вообще запомнил этот разговор. Разочарованный, я снова вернулся к любимой книжке и снова окунулся в мир лунного чистогана и мытарства Незнайки и Козлика в нем. Я читал ее по кругу — заканчивал и тут же начинал заново.

Много лет спустя, уже журналистом, редактором и немного писателем, я снова открыл «Незнайку на Луне». Повторы, штампы, канцеляризм... Пришлось признать, что Николай Носов не был блестящим стилистом.

А был он, как это часто бывает с авторами, жертвой собственного текста. Ильф и Петров вводили Остапа в качестве вспомогательного прохиндея, а сотворили всенародно обожаемого героя. Так же и бедный Николай Носов в «Незнайке на Луне» хотел заклеить капиталистический строй, а создал потрясающе обаятельный, жутко интересный мир.

Добро, конечно, всегда несколько скучнее зла, но чтобы настолько! Солнечный город и Цветочный город могли похвастаться поголовно счастливыми коротышками, какими-то вращающимися домами и... я даже не помню, чем еще. Ничем особо интересным для десятилетнего мальчика не могли они похвастаться. А Лунные Лос-Свиносы и Лос-Кабаносы... О!.. В них сновали лимузины и блестели небоскребы, смердели ночлежки и тюрьмы, все покупалось и продавалось, у полицейских были дубинки с электрошоком, богачи выписывали чеки и проматывали миллионы фертингов, бедняки зарабатывали несчастные сантимы, вращая колеса в парке аттракционов, акции хранились в несгораемых шкафах. Взятки, аферисты, латифундии, забастовки, газетчики... Драма, азарт, последний шанс — в общем, обаяние каменных джунглей во всей красе. Благодаря советскому писателю Носову я навсегда полюбил капитализм и чуть позже, с помощью О.Генри, перенес это чувство на США.

Конечно, лвиная доля этого мира выстроилась у меня в голове на основе восхитительно-детальных иллюстраций Алексея Лаптева — вот уж кто знал свое дело! Оказавшись двадцатью годами позже в Нью-Йорке, я вычленил из окружающего хаоса стиль, что-то единое и смутно знакомое почудилось мне в архитектуре, интерьерах, шрифтах и декоре Манхэттена. Я навел справки — стиль назывался *ар-деко*, я сразу его полюбил целиком, во всех проявлениях. А еще позже, проанализировав эту любовь, я понял, что это стиль иллюстраций «Незнайки на Луне»! Художник Лаптев бережно воспроизвел ар-деко во всем, от мебели до лунных небоскребов.

Илья Кормильцев сочинил песню «Гуд-бай, Америка» про несуществующую страну, из запретных плодов которой вырастают в нашей голове прекрасные и невоплотимые фантазии. Такой страной для меня навсегда стала Луна Носова в иллюстрациях Лаптева. И попадая в просторные олигархические кабинеты, я до сих пор мысленно сравниваю их с кабинетом господина Спрутса, а расплачиваясь кредиткой, вспоминаю чековую книжку Скуперфильда. Казалось бы, столько всего американского, буржуйского, небоскрежного было потом — и фильмы, и книги, все эти Уоррены и Сэлинджеры и Вуди Аллены, не говоря уж о живом топтании улиц Лас-Вегаса и Лос-Анжелеса, а все эта реальная Америка не дотягивает до простой, в сущности, фантазии советского детского писателя, который, небось, дальше Варшавы-то на запад не выезжал.

Детство, детство... Подозреваю, что не только мне повезло с «Незнайкой», но и «Незнайке» со мной. На месте Луны, где я не буду никогда, могли быть и прерия Майн Рида, и Средиземье Толкина, но повезло Луне. Детская фантазия обогащает текст лучше любого редактора и заряжает ребенка образами и мечтами на всю оставшуюся жизнь. Не без помощи автора текста, конечно.

Евгения Некрасова, прозаик, поэт, драматург (г.Москва)

Было облачно

Бог, очевидно, живет на облаках. Потому что кроме облаков на небе ничего нет, а там надо на что-то опираться. В облаках тепло и мягко, это не рай, но просторный, мобильный офис. Из тел мертвых людей получается земля, из душ образуются облака. Души необходимы людям для понимания друг друга, для коммуникации, а собранные из душ облака оказываются отличными доставителями речи. Жители древней Средней Америки догадывались о чем-то подобном и проводили на рисунках линию ото рта говорящего. Карикатуристы XVIII века дорисовали для речи облако. Из газет оно переместилось в комиксы к началу XX-го. Круглые с острым хвостом — прямая речь, круглые с тремя кругляшками один другого меньше — мысли, колючий, наэлектризованный будто от удара молнии — крик. Оттуда облако пришло в телефоны и компьютеры в XXI-й. Там облако — знак души — окончательно сделалось символом the message — сообщения.

В первой половине 90-х было по-настоящему облачно, возможно, облачней, чем сейчас, но про сейчас узнаем гораздо позже. Много-много наэлектризованных, колючих облаков-криков. Шла война (тут же, но где-то далеко), где-то близко убивали журналистов, просто людей на улицах, в подъездах, в машинах, просто грабили людей, просто квартиры, где находилось больше одного телевизора. В первой половине 90-х много было от чего спастись. Люди искали спасения, спасителей, спасителя, уходили в религию, в религиозные секты, в финансовые пирамиды, в косметические сети-секты и сети-секты здорового питания. Жителей страны перестали заставлять собираться в коллектив буквально пару лет назад, им сделалось страшно оставаться одним на свете, и они хотели объединяться всеми возможными образами.

Мне не было страшно. И я ничему не удивлялась. Это не всегда правда, что дети постоянно удивляются. Они, да, видят многое впервые, но воспринимают это новое как норму. Сильно темно-облачно? — Норма. Где-то далеко, но тут, идет война? — Норма. Все ищут спасения? — Норма. Мне лично не от чего было спастись, кроме учебы. В остальном всё было ОК. От голода мы спасались выращиванием собственной картошки на самозахваченных полевых участках, я носила свои первые настоящие джинсы из американской гуманитарной помощи. Они были мужские и мне неудобные.

После школы я не шла домой, а шла к бабушке с дедушкой. Бабушка кормила меня обедом, а потом ужином. Я делала уроки, смотрела телевизор. Бабушка и дедушка никогда не читали художественной литературы, не смотрели кино и сериалов, не развлекались чужими придуманными историями. У них всегда было мало книг. Одна лежала в стороне от трех старособранных советских полок. Внутри неё находилось много облаков с речью. Между облаками ходили люди и произносили речи. Ходил чаще всех один человек, из города в город, из дома в дом, разговаривал речами. У меня не было цели прочесть эту книгу, но я её читала и изучала каждый раз, когда приходила к бабушке с дедушкой, почти каждый день. Эта книга сделалась моей повседневностью. Мне нравилось, что книгу можно было рассматривать и читать одновременно. Мне нравилось, что вся она заполнена яркими цветами, не психоделическими, а восточными, околотропическими. Мне нравилось, что этот человек перемещался в заданном ему пространстве гор, пустынь, морей, рек, домов и совершал чудеса. Чудо с хлебами и рыбами меня восхищало даже больше, чем с воскрешением других людей и его собственным. Я не то чтобы голодала, но почти всегда хотела есть. Это потом я узнала, что изучала каждый день один из главных сюжетов на свете. Вторая половина книги была сиквелом и рассказывала уже об

учениках главного героя. Но больше историй мне нравились визуальные детали. Выражения лиц: распахнутые глаза удивления, гримасы гнева, испуга, улыбки радости, благодетельные улыбки, ухмылки. Позы и жесты: танцующая походка исцеленного человека, наклон головы женщины, которую обвиняют в том, что она зря расходует дорогой мир, протянутые за спасением руки, раскинутые в стороны, убитого на месте человека. Но особенно интересными были мелкие детали: деревянный треугольник в мастерской плотника, серьга-монисто в ухе самаритянки, веревка, перевязывающая камень на гробнице, прозрачность ангела, приснившегося Павлу, цветы на занавесках в комнате Корнилия. Достоверность истории придавали верная пластика и детали. Люди были нарисованы реалистично, всюду брались точные для конкретной ситуации планы — крупные, средние, общие, камера за затылками с расположением главного героя в центре кадра. Книга походила на раскадровку авторского фильма. Она ею и являлась.

Я почти не читала в детстве, а с этой книгой я понимала, что читаю религиозную литературу и поэтому что-то серьёзное, но формат комикса понижал уровень ответственности и позволял мне не оставить книгу. Она была интересной. На обложке главный герой говорил с детьми разного возраста, без облаков. Роль облака выполнял овал в углу — с надписью «Иисус Христос жив!» Так книга коммуницировала напрямую с читателями, сообщала им благую весть. Адаптируя книгу на русский, переводчик нашел то самое сообщение, которое было родным всем ходящим по постсоветской земле, говорящей им прежде двух других, считаемых разными людьми тоже пророками. Один из них на момент издания книги (1991) погиб совсем недавно, и переводчик, таская потерю в сердце, вложил её в уста книги.

Книга была переводная, американская, тоже пришедшая к нам искренней гуманитарной помощью. Вроде детская по оформлению, а вроде взрослая по содержанию. Я думаю, что по причине её неокончательного, неустановленного статуса она жила у бабушки и дедушки, а не отправлялась со мной домой, но вместе с тем мне позволялось её читать. Не знаю, как она оказалась у них, вряд ли она была их осознанной покупкой, скорее розданным гуманитарным, миссионерским подарком на работе (бабушка была медсестрой, дедушка работал в КБ на заводе).

Взрослая уже, вспоминая эту свою первую Библию, которая оказалась одновременно моим первым комиксом, я была уверена во взрослости этой книги, привыкшая сейчас к тому, что графические романы — это выросшая литература. Я не помнила её названия, только отдельные визуальные вспышки: текстовые блоки в облаках, яркие одежды героев, армию ангелов небесных, спускающуюся с неба, человека, закутанного в тонкие белоснежные бинты и в изумленную толпу. Мне понадобилось 7 минут, чтобы найти в интернете название этой книги и скачать её русскую версию. И вспомнить свои детские ощущения от неё.

«Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви» была опубликована в 1991 году издательством Slavic Gospel Association в Мытищах. В 90-е в России многое было возможно, тогда не существовало оскорбления чувств верующих, религия и пути прихода к ней оказались свободными, в первую очередь от государства. Ещё 10 минут мне понадобилось от гугла, чтобы найти информацию об оригинале: книгу впервые опубликовали в Америке в 1978-м для детей. Я прочла англоязычные отзывы на Амазоне, часто сердечные воспоминания людей о том, что они читали эту самую книгу, как и я, в начальной школе и что это хорошее знакомство с Библией в детстве, и с этим, я, наверное, соглашусь.

Текст для графического романа адаптировала американская писательница, специализирующаяся на подобных проектах, иллюстрации нарисовал тоже обычно работающий над религиозными комиксами художник из Гаити — что меня удивило, потому что книга вся источала белизну: часто светловолосость, часто голубоглазость, часто белозубость, часто белокожесть, поджарость, худобу — подобными образами

были забиты тогдашние американские сериалы, фильмы и реклама. Общие, свойственные американским 80-м и 90-м: 1) белизна, 2) идеальность и 3) обязательная успешность, непонятные сейчас даже на постсоветском пространстве. Но в 90-е в России мало кто думал-понимал про расизм, разнообразие и толерантность, а успешностью, идеальностью мыслили очень многие — и не могли себе её позволить. Необходимость успешности понимала даже я в начальном классе. Книга, которую я читала-смотрела, и была историей успеха. Успеха человека, который начал своё дело, пострадал через него, и оно успешно продолжилось его учениками. Успех был очевидным сообщением этой конкретной книги. Успех был очевидным спасением, успех правильной коммуникации, правильно подобранной формы облака, например, прямоугольной, вытянутой, с острыми лучистыми краями, сообщающего: «Не бойтесь: возвещаю вам великую радость, которая да будет известна всем людям...»

Арина Обух, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Чёрная книга с терракотовыми людьми

- Почему ты все время рисуешь длинные носы?!
- Потому что это красиво.
- Значит, у тебя некрасивый нос?
- Красивый. Просто он еще не вырос. Я еще маленькая.

Шикарные длинные носы с горбинкой я впервые увидела в книге «Мифы Древней Греции». Черная книга с терракотовыми людьми в туниках.

Слово «миф» — загадочное. Слово «Греция» — тоже (но вкусное, напоминает орех). «Древней» — уже яснее. Было давно.

А мифы, между прочим, стра-ашные: все друг друга проклинают, предают, убивают.

Нет, нет, хорошо, что это было давно.

А потом эти мифы начинают сбываться. Сначала в игре. Потом в жизни. Нарциссы, дионисы, горгоны, тесеи, печальные ариадны...

Только они не в туниках и хитонах. Мода другая.

...Новогодний бал-спектакль детской изостудии Эрмитажа.

Я — Сизиф.

Сандалии, наряд с древнегреческим узором из каких-то закрученных квадратов. Но я уже в курсе, это символ бесконечности — меандр.

Бесконечность — это красиво.

Всё что красиво — бесконечно. Так думаю.

Сизиф был обманщик и хитрец, это все знают. Ему даже удалось обмануть самих богов и вернуться назад, в жизнь, из царства теней.

Молодец.

Жизнь должна быть бесконечна, как меандр.

Но боги, как известно, гневливы и мстительны. И Сизиф в конце концов был наказан, это тоже известно.

...Я качу по сцене Эрмитажного театра свой сизифов камень, и чтобы никто не сомневался, что камень действительно тяжёлый, на нем так и написано: «Очень

тяжёлый камень». Он больше меня. Состоит из огромного прозрачного целлофанового пакета, набитого воздушными шариками. С чувством читаю доморощенные стихи:

...Я стар и устал.
И камень достал!..
О бедном Сизифе замолвите слово!..

Срываю аплодисменты. Кланяюсь. И ухожу.

Ухожу в мифы своей жизни.

Где боги по-прежнему карают людей за дерзость, непослушание, глупость — за все человеческое.

Я качу камень.

Сизифов камень — это бесконечность моих ошибок. Рисую меандр. Один, второй, третий...

«Мифы древней Греции» и по сей день моя настольная книга. Мне кажется, я просто живу в ней.

И нос мой, кстати, со временем — таки да! — стал древнегреческим.

Ярослава Пулинович, драматург (г.Екатеринбург)

«Шкаф "Библиотека пионера"»

Моей самой любимой книгой детства стала повесть Юза Алешковского «Кыш, два портфеля и целая неделя». Я нашла ее у бабушки в «детском» книжном шкафу, где стояли книги, которые в детстве читали мои папа и тетя. Шкаф так и назывался — «библиотека пионера». Я много книг из нее перечитала: и «Мальчик из Уржума», и «Четвертая высота» про Гулю Королёву, и рассказы про детство Ленина. Наверное, я была единственной девочкой в девяностые, кто все эти книги прочел. На «Кыша» я наткнулась случайно, зелененькая книга лежала в самом углу шкафа и ничем особенным не выделялась. Первый раз я прочитала ее в семь лет. И тогда я поняла, что это теперь моя самая любимая книга. Потому что она не про героев, не про великие подвиги, а про маленького первоклассника и его собаку, про неуверенность, про страхи, про настоящую дружбу, про тот самый пресловутый подвиг, который взрослым показался бы смешным и глупым: ну что за подвиг такой — пойти и вызвать на дуэль старшеклассника, про первое столкновение со взрослыми проблемами... В общем, эта была книга про меня. Несмотря на то, что Алёша Сероглазов рос в семидесятые, а я в девяностые.

Что еще меня поразило уже потом — в книге нет ни одного упоминания о Советском Союзе. Да, герои ходят в форме, но никаких тебе клише идеологического толка об октябрятских звездочках, о мечтах стать пионером. Главные герои — обычные первоклашки, которые могли бы жить в любой стране.

Второй такой настольной книгой уже лет в четырнадцать для меня стала книга Владимира Киселёва «Девочка и птицелёт». В ней тоже нет никакой идеологии, подростки просто живут, просто учатся, просто мечтают построить птицелет, влюбляются, ссорятся, мирятся...

Для меня эти две книги рифмуются еще и потому, что и в «Кыше» и в «Девочке» авторы не идеализируют взрослых. В «Кыше» папа Алёши ссорится с лучшим другом,

несправедливо обидев его, и отказывается признавать свою вину, которая очевидна всем, даже маленькому Алёше. В «Девочке и птицелёте» семиклассницу Олю воспитывают мать и отчим. Они периодически ссорятся, и Оля чаще всего занимает позицию отчима, чем ужасно злит мать. В этих книгах характер имеют не только дети, но и родители, которые, как и в жизни, не всегда поступают правильно и мудро.

Уже в двадцатилетнем возрасте я прочитала у Алешковского повесть «Николай Николаевич». Честно говоря, сначала я решила, что это какой-то другой Юз Алешковский, потому что не мог человек, который написал «Кыша», написать такое... Но потом я поразились многообразию таланта Юза. Что ж, многие поклонники ценят его за взрослые книги... А мне Алешковский подарил Алёшу Сероглазова и его подругу Снежку, которые на долгие годы стали моими друзьями.

Герман Садулаев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Экзамены по «Мёмбе»

Из раннего своего детства не помню я ни букварей, ни сказок. Наверняка они были, просто не оставили ярких впечатлений в детской душе. Первыми книгами, которые я отчётливо помню, были «Графиня де Монсоро» Александра Дюма и «Цусима» Новикова-Прибоя. Мне было шесть или семь лет, может быть восемь, я стоял в родительской комнате с томом Дюма в руке и пересказывал папе с мамой содержание только что прочитанной главы, а мама и папа хохотали. Почему они смеялись, мне было не понять. Книга была очень грустной. «Цусиму» я уже не пересказывал никому. Вообще я понял, что настоящая книга должна быть толстой и трагической. Потому что это литература. А не мультики. Мультики короткие, и в них всё всегда хорошо заканчивается, потому что мультики — это для детей. А для взрослых есть книги. Книги — они про жизнь. А жизнь очень длинная и заканчивается всегда плохо. Да и жить грустно. А вовсе не весело. А мультики ложь. Когда заяц издевается над волком, то это вовсе не смешно. Волку больно. И он не выжил бы. Его бы отвезли в больницу, и он бы там умер. А все смеются. Все хотят меня обмануть, внушить мне, что жизнь короткая и весёлая, как серия «Ну, погоди!» Но это неправда. Жизнь длинная. Мои мама и папа живут уже почти сорок лет и до сих пор не умерли. И я тоже буду жить долго, может быть, лет тридцать или даже сто. И всю жизнь мне будет печально и грустно. Поэтому лучше читать книги, толстые и печальные книги, чем смотреть глупые мультики. Книги подготовят меня к жизни, а мультики нет.

Но самое странное, не сильное, а странное влияние на меня имела книжка детской фантастики «Обыкновенная Мёмба» авторства советского писателя Владимира (по другим данным — Виталия) Мелентьева.

«...В этот момент юрта явственно качнулась и стала слегка потрескивать. — Выключить свет! — вдруг крикнул молчаливый серебряный проводник. — Немедленно выключить свет! Когда свет погас, все невольно стали смотреть на купол, сквозь который пробивались лучи, пронзительные и злые. Синие, алые и зеленые. На куполе передвигались — медленно и могуче — алые полосы, зеленые зигзаги и синие квадраты. Они сплетались в жуткую живую вязь, которая словно струилась по изгибающемуся куполу подводной юрты. — Мравиши! — в ужасе закричали грши и, сами того не замечая, стали сбиваться в кучки, как можно теснее прижимаясь друг к другу».

Мы тогда ничего не знали про Говарда Лавкрафта. И только теперь я понял, что

Мелентьев был таким советским Лавкрафтом. За маской детского фантаста а-ля «Гостя из будущего», за прикрытием книжек про коммунизм на других планетах скрывались тексты снов и ужаса. Кошмары, вполне кошмарные не только для детей. Меня и сейчас охватывает страх, когда я вспоминаю про то, как впервые увидел мравишей. Если бы не звуковое оружие, они бы... они бы нас... я не знаю, что. Они бы сделали с нами что-то ужасное. Что-то такое, чему нет описания в человеческом языке.

Я читал «Мёмбу» раз десять или, может быть, сто. У меня этой книжки не было, и я приходил в гости к тете, специально, чтобы почитать. Мой старший кузен проверял меня, принимал у меня экзамены по «Мёмбе». Он открывал книжку наугад, начинал читать, а я продолжал наизусть до конца страницы. Я помнил не только текст, я помнил, где заканчивалась каждая страница, и расположение абзацев помнил наизусть.

«— Понимаешь, что странно... — проговорил Мрн. — Когда я услышал о вылазке отариев, мне сразу показалось, что в океане что-то не спокойно. Только я не могу представить, что именно. А сейчас... сейчас... Тебе не кажется?.. — Что в воде что-то дрожит? — Да. Какая-то странная дрожь. Виктор ничего не понимал. В своем костюме он чувствовал себя вполне нормально. — И потом, мои друзья что-то явно хотят сказать. Они словно предупреждают о чем-то... Брат с сестрой помолчали, и Дбн решила: — Мне кажется, что нам лучше возвратиться. Мне и вправду не по себе... Какое-то странное предчувствие. А какое — не знаю».

С тех пор я прожил уже сорок шесть лет. И пока все происходит именно так, как предсказывала литература: долго и грустно. А еще все время какое-то странное предчувствие. И хочется возвратиться. Знать бы, куда.

Сергей Самсонов, прозаик (г.Москва)

«Умножение твоей жизни на чужую жизнь»

Излюбленным моим чтением в детстве были книжки, в которых одни мужчины убивали других. Полагаю, что это было частным выражением той тяги, повинуюсь которой, человеческие детеныши мужского пола, едва встав с четверенек, разделяются на два враждебных племени и берутся за палки и камни. А впрочем, как мне кажется, все книги, когда-либо написанные, повествуют о том, как люди убивают друг друга и порою себя — за еду, из-за денег, из зависти, ревности, страсти либо ради великих идей и учений. Хотя они же, книги, зачастую говорят, как это плохо и что этого делать нельзя.

Тогда же, на заре своего становления, едва научившись читать, я поглощал все «илиады войн и апокалипсисы революций», какие только мог найти и на которые не мог не натолкнуться. Советский телеэкран был скуден, «Нинтендо» — роскошью, доступной только избранным несчастным, уже ступившим на обратную дорогу от человека к обезьяне, и я питался мушкетерами Дюма, пиратами Стивенсона, индейцами Купера, капитанами Жюль Верна, «Слонами Ганнибала» Немировского, пещерными людьми из книги «Борьба за огонь», конквистадорами, Донскими, Разинами, крестonosцами, татаро-монголами Яна, пионерами-героями и «красными дьяволятами»... «сей длинный выводок» можно продолжать до бесконечности.

Любимейших книг было две — «Одиссея» и «Илиада». Капитана Блада и Гомера соответственно. Первую я прочел бесчисленное множество раз и помню все обстоятельства

ее попадания мне в руки: как отправился в гости к своему однокласснику и как мы посмотрели у него «Самоволку» с Ван Даммом и начали смотреть «Эммануэль», но тут телефонный звонок, возвестивший о скором прибытии «полиции нравов», толкнул нас к книжным полкам. Бирюзовая обложка с разводами, изображающими рябь далекого, недостижимого моря. Одна из тех книг, которые делались из переработанной макулатуры. Открыл ее — и море ожило. Не могу сказать, что я испытывал «романтические» чувства — скорее, «алхимические»: это был случай превращения во все, о чем читаешь: в героя, в пространство, в поворот оверштаг, в чугунное ядро, летящее в крюйт-камеру... Это было то самое, ради чего и пишутся-читаются все книжки, — расширение пределов твоего бытия, умножение твоей жизни на еще одну, чужую жизнь, не менее и даже более достоверную, чем собственная, удлинение ее на эпоху, в которой никогда не побываешь, вернее, никогда не побывал бы, если бы не роман Сабатини.

С «Илиадой» — подобная же история, хотя написанное в столбик да еще и с архаической «царственной пышностью» меня в 5-м классе отпугивало (тут всякая «поэзия» ассоциировалась с подневольным заучиванием наизусть). Но, во-первых, соударение с этой «небесной осью», по всей видимости, было неизбежно, а во-вторых, я сразу же напал на сцены такого «мочилова», в сравнении с которыми все «Рэмбо» и «Храбрые сердца» — просто детсадовские утренники. Ну а дальше... Не знаю, каким таким органом, рептильным мозгом я воспринимал вот этот ритм, но эта ископаемая книга «меня всего перепахала» — намного раньше, чем я это осознал и смог для себя как-то определить. То было живое биение плуга, выворачивающего пласты какой-то позабытой речи, залегающей там, где когда-то зародилась сама жизнь на земле. То было мерное дыхание неостывающей магмы праязыка. Те колебания, которые формировали тектонические плиты, проходили сквозь меня, и я был высушенным черепом, давно уже пронизанным корнями трав, и в то же время эмбрионом в материнской утробе.

Григорий Служитель, актер, прозаик (г.Москва)

«Концентрированный заряд счастья»

Поначалу с энтузиазмом взявшись за написание текста о любимой книге детства, я должен признаться, что сейчас испытываю некоторое затруднение. Казалось бы, выбери заветную книгу и сочини небольшую аннотацию: люблю за то, вдохновляюсь тем-то. Но оказывается, дело это не из самых легких. Во-первых, книг, без которых я не могу представить своего детства, несколько. Это и «Мифы и легенды древней Греции», и «Айвенго» Вальтера Скотта, и «Пунические войны» Тита Ливия, и даже «Праздник непослушания» Михалкова. Во-вторых, детства (в отличие от взрослства) много. Что считать эталонным возрастом ребенка? Когда он в первый раз видит себя в зеркале? Когда в первый раз дерется? Когда идет в школу? Предположим, что все-таки этот «эталон» — концентрированный заряд счастья, который (почти) каждый выносит из детства с собой и по возможности сберегает через всю жизнь. Поэтому я остановлюсь на «Хрониках Нарнии».

Книги я полюбил еще до того, как сам научился читать. Примерно в шесть лет. Тогда мама читала мне вслух Клайва С.Льюиса, и, пожалуй, это было первым сознательным воспоминанием о литературе, которая приносит удовольствие и радость

(до сих пор эти два критерия остаются для меня едва ли не самыми главными в оценке книги). Притом я не могу сказать, что моя тогдашняя жизнь была безрадостна и тускла. Тем не менее с тех пор литература стала для меня синонимом той шапки-невидимки, надев которую, ты можешь проходить сквозь дни неузнанным для остальных. Или так: плыть параллельно жизни свои особым Гольфстримом. И «Племянник чародея», и «Лев, колдунья и платяной шкаф», и в особенности «Конь и его мальчик» стали текстами, после которых я раз и навсегда осознал, что у жизни бывает отражение, которое подчас превосходит оригинал красотой и даже подлинностью. И это тем более интересно, что «Нарния» стала, должно быть, первопроходцем того жанра, который с годами назовут «фэнтези» (жанра, замечу в скобках, мною горячо нелюбимого). Но в отличие от своих многочисленных эпигонов, Льюис был в первую очередь озабочен не тем, как бы подальше унести воображение читателя, за тридевять земель, но, скорее, смоделировать «внутреннюю» Англию, которую сможет узнать любой его соотечественник и современник. И мне кажется, что в результате «Хроники» вышли далеко за рамки примитивной метафоры.

Я отчетливо помню поездку в Эстонию. Пярну. Каждый вечер перед закатом мы шли к морю, сидели на «нашу» скамейку, и мама читала продолжение истории английских школьников, перенесшихся в параллельную страну. Долгие годы после я мысленно проговаривал любой читаемый мною текст интонацией матери. В детстве особую радость доставляет *узнавание* своих мыслей и переживаний у персонажей книг. Так ребенок учится сопереживанию. Пожалуй, ни одна другая книга в детстве не дала мне столько узнаваний, как «Хроники Нарнии». И самое удивительное, что, пожалуй, тот я спустя многие годы выглядит из прошлого так целостно и ярко, что мне не составляет труда сравнить себя нынешнего с тем, кем я когда-то был. Наверное, в этом и заключается одно из главных чудес литературы.

Марина Степнова, прозаик (г.Москва)

СЛИШКОМ ПОЗДНО

Будь у меня в детстве планшет или смартфон, я бы, разумеется, часами торчала на Youtube да резалась в игрушки (многие из них действительно великолепны). Но мне повезло родиться в советские времена в доме, где читали все. Огромная библиотека была еще одним членом семьи — и очень рано стала моей самой главной и любимой игрушкой. Выставить меня во двор погулять было делом бессмысленным, невозможным. Я не смотрела телевизор (и не полюбила этого по сей день), идейно не играла в куклы, а только читала — запойно, без разбору, без остановки.

За едой, в туалете, ночью, на ходу.

Всегда.

Когда мама оценила всю тяжесть сформировавшейся зависимости, книги даже превратились в орудие возмездия. Самым страшным наказанием стало лишение чтения. Один раз мне запретили читать целую неделю! К сожалению, семейные хроники не сохранили состав преступления — и никто (включая меня) не помнит, чего же такого я натворила, чтобы схлопотать практически высшую меру. Но эту неделю без чтения я помню до сих пор — пустое, страшное, серое время.

Впрочем, шалила я исключительно редко — некогда.

Мои путешествия по полкам никто никогда не контролировал. Конечно, в

детской была отдельная, с большой любовью подобранная библиотека, но родители уходили на работу, и я отправлялась пастись в невиданных взрослых отрогах. Самое опасное — например, мамины медицинские книги и какого-нибудь сомнительного со всех точек зрения Дрюона — конечно, попытались сослать под самый потолок, но табуретка и пара томов БСЭ легко прибавляли мне недостающей взрослости. Поэтому к первому классу я проглотила не только все предназначенные советскому ребенку детские книжки, но и невероятную крошку из родительских книг, включая всего (!) Чехова и Горького, «Таис Афинскую» Ефремова, того самого Дрюона, а так же справочник практического врача за 1956 год и блистательную монографию «Творчество душевнобольных». Последнюю, кстати, очень рекомендую.

Надо ли говорить, что чертополох в моей голове торчал просто непродирный, и не понимала я в прочитанном в лучшем случае ни пса? Но — удивительное дело — я до сих пор люблю и Чехова, и Горького, равнодушна к Дрюону, часами зависаю над медицинскими книгами (к сожалению, понимая в них не больше, чем в пять лет), а «Таис Афинская» и по сей день входит в тайный список моих любимых романов.

Понятно, что при таких объемах бездумного и бессмысленного чтения любимых книг у меня было много. Очень. Я бесцеречно меняла фаворитов: бредила то японскими сказками (загадочные рисовые колобки, которые поглощали их герои, годы спустя оказались обычными суши — а жаль), то романами Золя, Гюго и Дюма (очень, очень удобно висевшая полка), то «Кораблями Санди», которые, кроме меня, кажется, никто вообще не читал. Родители подбрасывали в эту топку все новые и новые сокровища: полный Незнайка, все тома волковской эпопеи, включая «Жёлтый туман», детская энциклопедия и двенадцать синих растрепанных томов «Библиотеки школьника». Черт, да у меня были обе Алисы в невероятных иллюстрациях и самые настоящие подшивки дореволюционной «Нивы»!

Я была по-настоящему богатой девочкой.

Но самой важной книгой моего детства стала обычная советская книжка, напечатанная громадным тиражом. «Васёк Трубачёв и его товарищи».

Книга, которую мне так и не удалось прочитать. Никогда.

Единственным человеком, который не одобрял мою книжную булимия, была бабушка. Бабушка была учительница. Все буквы в этом слове надо писать большими. Очень большими. Даже не так — бабушка была педагогический гений. Сейчас, барахтаясь в розовых соплях модного осознанного родительства, я вспоминаю ее особенно часто. Бабушка ни разу в жизни не повысила на меня голос. Невозможно было вообразить себе, что она может хоть кого-нибудь шлепнуть. Но даже мысль о том, что ее можно послушаться или обмануть, казалось невероятной. Даже Джулька, толстая и разбалованная собака моей тетушки, питавшаяся в миру исключительно «Юбилейным» (и только «Юбилейным») печеньем, которое специально для нее разжевывали с клубничным (и только с клубничным!) вареньем, у бабушки покорно жрала пустые щи из свежей капусты и всем задом выражала самый искренний восторг. Бабушка просто молча ставила перед Джулькой миску. И все.

Что уж говорить обо мне?

Меня отвозили к бабушке на все лето. Бессмысленное чтение оставалось дома. У бабушки я как миленькая читала все, что положено ребенку моего возраста (список положенного готовился загодя), потом прочитанное пересказывала, а на закуску писала изложение. На это уходил час в день — и ни минуты больше. Еще час я занималась математикой. Час — рисовала. Потом столько же — вышивала. Черт, бабушка вручила мне первую вышивку, когда мне исполнилось четыре года — четыре! — и я вышла зайца на кровати. Стебельчатым швом, самой настоящей иголкой, отрезая нитки самыми настоящими ножницами. Господи, моей дочери

сейчас три с половиной, и я зеленею от ужаса, когда она берет в руки обычную вилку! А вот бабушка не сомневалась, что я справлюсь. И я справилась.

Два часа отводилось на свободную игру — на улице. И бабушка ни разу не попыталась придумать, чем бы мне заняться для того, чтобы развиваться интеллектуально или хотя бы физически, — это было исключительно мое время, и я сама решала, чем его заполнить. Она не вмешивалась, даже если я играла с настоящими, живыми пиявками или дрессировала здоровенных пауков. Успокойтесь, никто при этом не пострадал. Даже я.

Перед сном бабушка читала мне вслух — тоже только то, что решала сама, и я с восторгом слушала, хотя вообще-то этих малышей развлечений не терпела и с четырех лет читала про себя. Ах да, у меня еще был целый список обязанностей по дому — принести воды (в особом маленьком ведре), прополоть грядки (специально для меня разбитые), вымыть посуду, подмести, собрать ягоду — и всем этим обязанностям было отведено свое время в течение дня, и порядок этот, простой и величественный, как мироздание, никогда не нарушался.

Говорю же — бабушка была гений!

Книг у нее в доме тоже было очень много. Бабушка их не прятала, не запирала, но мне бы и в голову не пришло хоть что-то взять без спросу. Понятия не имею, что бы она со мной сделала — возможно, просто была бы разочарована, — но я бы не рискнула проверить и сегодня. К книжным полкам можно было только подходить и смотреть. Я честно закладывала руки за спину (чтобы не подвели) и смотрела. Чистые танталовы муки. Книги этого лета лежали отдельно, стопкой, на буфете. Их трогать было можно, но именно поэтому не хотелось.

Особенно сильно мне почему-то нравилась большая желтая книжка, чуть разлохмаченная на обшлагах. Как сейчас вижу на обложке нарисованных быстрым углем мальчишек в красных галстуках, прорывающихся сквозь какие-то кусты. Главный мальчишка в забавной тюбетейке пальцем (неприлично!) показывает дорогу — видимо, в светлое будущее. «Васёк Трубачёв и его товарищи» — гласит название. Фамилию автора я не запоминаю. Не достаиваю. А вот логотип «Детгиз 1953», пожалуй, смогла бы нарисовать и сейчас.

Думаю, я была влюблена в эту картинку. Точнее, в мальчишку в тюбетейке. У него было удивительное лицо — умное, веселое и некрасивое. Я могла смотреть на него бесконечно. И до сих пор могу, чего уж там. Только такие мужские лица мне и нравятся.

В конце концов, я не выдержала и привела к книжке бабушку. Сама взять так и не посмела.

Бабушка взяла любовь моей жизни и пролистала.

Я замерла. Был июнь, совершенно точно, и мне кажется, если сделать небольшое усилие, я увижу даже отрывной календарь на стене и смогу различить двоящееся число. Все четыре открытых окна заливало солнце, пахло утренними сырниками, удивительными, бабушкиными, вязкими внутри, и немного керогазом. В палисаднике ругались скворцы — ссорились из-за клубники, огромной, бледной, почти не сладкой. Руки у бабушки были мокрыми — она мыла посуду. На лице Васька и на его рубашке остались влажные пятна.

Я стояла, задрав голову, босая пятилетняя девчонка в красном ситцевом сарафане, и очень ясно понимала, что решается моя судьба.

— Хорошая книжка, — согласилась бабушка. Но тебе еще рано. Потерпи.

И я начала терпеть.

Это было настоящее колдовство, какой-то заговор, невысказанный тренинг по закалке человеческой воли. Я могла попросить книжку у родителей — они бы, разумеется, купили. Могла взять ее в любой из трех библиотек, в которые была записана. Уговорить бабушку отменить приговор, в конце концов, — очень возможно,

это было не таким уж безнадежным делом, как мне казалось. Я могла, наконец, стащить книгу и прочитать ее ночью, под одеялом, это был старый и давным-давно отработанный трюк. Говорю же, во всем, что касалось чтения, я была сложившимся правонарушителем со стажем.

Но я терпела.

Каждый год, приехав к бабушке, первым делом неслась к полкам, смотрела на своего Васька. Сперва снизу вверх, потом вровень — глаза в глаза.

Еще рано, говорила бабушка — и лето катилось, огромное, яркое, мелькая ровным раз и навсегда предначертанным узором каждого дня.

А потом мы переехали — далеко, очень далеко, и несколько лет к бабушке меня не возили, и я только писала ей каждый месяц бестолковые захлебывающиеся письма, в которых она аккуратно, красной ручкой, исправляла ошибки — и складывала стопкой в буфет, рядом с матовой, полупрозрачной, как будто напудренной сахарницей на львиных лапах. Ошибок становилось все меньше, потом они исчезли совсем, — и когда я наконец приехала снова, тощим подростком, искалеченным своими и чужими стихами, Васёк Трубочёв с полки исчез. Бабушка подарила его внуку своего бывшего ученика. К ней часто заходили бывшие ученики. Совсем взрослые, многие даже седые.

— Тебе все равно уже поздно, — сказала бабушка.

Было по-зимнему пасмурно, пахло печкой, горячей картошкой с топленым маслом, и палисадник ровно, по самые зубцы, завалило снегом.

Я отошла от полки.

И снова долго, очень долго не приезжала.

А потом бабушка умерла.

Так я никогда и не прочитала эту книжку. Никогда в своей жизни. Не посмотрела кино. Не попыталась даже узнать в вездесущем интернете краткое содержание. Фамилию автора — Осеева — прогуглила только сейчас, когда писала этот текст. Известная писательница, оказывается. Кто бы мог подумать.

Я даже не купила дочери переиздание — хотя сберегла либо восстановила для нее, ни на что не надеясь, на вырост, впрок, — почти всю свою безумную детскую библиотеку. За исключением разве что «Творчества душевнобольных».

Но Васька Трубочёва и его товарищей заказать не решилась.

Слишком поздно.

Маша Трауб, журналист, прозаик (г.Москва)

Молоховец для детей

Моя бабушка никогда не умела готовить. Она вообще много чего не могла делать из того, что положено женщине. Женщине, которая жила в селе на Северном Кавказе. Бабушка не умела доить козу, шить по выкройкам из журнала «Я шью сама», плести веники, ухаживать за теплицей, разводить кур, вышивать, вязать. Но главный недостаток, который вызывал, скорее, искреннее удивление у женщин села, чем порицание, — полная неспособность накрыть стол. Более того, искреннее бабушкино нежелание тратить свое время на чистку, варку, запекание.

Хотя нет, она пыталась. Но банки для закрутки овощей оставались забытыми на колышках забора, куда выставлялись для просушки. Или взрывались все сразу, и бежавшие на звук канонады соседки думали, что бабушка решила поколоть грецкие орехи гранатой. Что было вполне в ее стиле. Сковородками она придавливала листья

рукописи, чтобы не разлетались, сотейник служил подставкой для карандашей и ручек. А в кастрюле можно было обнаружить чернила, ценные записи для будущего репортажа. Попытка бабушки сварить варенье закончилась пожаром — сгорел сарай с хозяйственной утварью. Бабушка радовалась. Сарай ей мешал, а лопатами и вениками она не пользовалась. Но избавиться от столь ценного в селе сооружения вроде как считалось неприличным.

У бабушки на огороде росла и колосилась только крапива. И эта крапива считалась самой «злой» и «кусачей». Если требовалось призвать к порядку ребенка, то все соседки грозились нарвать крапивы «у Марии» и надавать по попе. При этом у бабушки, благодаря моей маме, ее дочери, жившей в столице, всегда были свежие модные журналы с выкройками, самые прогрессивные удобрения и самые необычные семена цветов, из которых могло вырасти все, что угодно. Например, декоративный укроп вместо обещанных пионов. Или патиссон вместо морковки — мама тоже была равнодушна к цветоводству и огородничеству. Поскольку бабушка считалась уважаемым человеком в селе — первым и единственным за всю историю женщинОМ — главным редактором местной районной газеты, соседки за ней приглядывали и всячески помогали по хозяйству. Кормили меня, ее внуку, все соседки по очереди и следили, чтобы я не уменьшилась в талии и чтобы им не стало стыдно за мою попу.

Зато на бабушкиной прикроватной тумбочке всегда лежала книга Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Бабушка читала ее на ночь. Пару абзацев, редко — страницу. Иногда читала книгу рецептов вслух своей закадычной подруге, местной гадалке и знахарке Варжетхан.

— Ты послушай, как красиво звучит — аморетки, это отварной костный мозг. А инжир называется «винные ягоды». Даже не угадаешь, что такое трибулька! Зеленый лук! — восхищенно вскрикивала бабушка.

— Ты опять вместо завтрака свою газету ела? — возмущалась Варжетхан, потому что была ответственна за бабушкину язву желудка.

Гадалка выкладывала на стол сырую луковичу, горбушку серого хлеба, натертую чесноком, сваренное вкрутую яйцо. И варила кофе — сладкий и крепкий до одури. Так что вместо язвы следовало беспокоиться за тахикардию.

— Вот бы эту книгу на осетинский перевести! — продолжала рассуждать бабушка, — Только как перевести? Портулак? Кервель? Как объяснить — савойская капуста? Варжетхан, как сказать по-осетински «рябчик»? И никак не могу понять, что такое «рыбий клей». Ты не знаешь?

— Я знаю, что если ты пойдешь по селу спрашивать, что такое «рыбий клей», то все село ко мне придет с вопросом, совсем ты сошла с ума или я могу тебе дать отвар? Вот зачем ты спрашивала у бедной Лианы, водятся ли в Тереке ерши? Она же потом ко мне прибежала, и я ей час на бобах гадала, чтобы она успокоилась наконец. Она же решила, что ты что-то знаешь, чего никто не знает и твои «эрши» обещают засуху, наводнение, причем одновременно, и то, что она опять будет тонуть в Тереке, как в детстве! Лиана так переживала, что мне пришлось ей нагадать внука! И что мне теперь делать? Скажи спасибо, что ее невестка Нина приходила ко мне три дня назад и просила отвар от рвоты. И я сразу поняла, что она беременна. Нина решила никому не говорить. Хорошая девочка. Но как мне сделать, чтобы у Нины родился сын, и чтобы Лиана была, наконец, счастлива? Ты об этом подумала, когда к Лиане со своими «эршами» подходила?

Бабушка всегда оставалась мечтательницей. Она, прошедшая фронтовым корреспондентом всю войну, мечтала о мире во всем мире, что для нее не было образным выражением. Но главное — чтобы дети и внуки не знали, что такое голод.

Когда бабушка находила совпадения книжных рецептов и реальной жизни, очень радовалась. Больных, как и в книге, так и в сельской реальности, отпаивали крутым

бульоном. Детей, а также цыплят в селе кормили пшенной кашей. У Молоховец в бульон вливали водку для придания мягкости говядине, оказавшейся не очень молодой, в селе — самогон с той же целью.

Но не бабушка и не ее книга, а Варжетхан объяснила мне, что пока есть трава, с голоду никто не умрет. Суп из крапивы и шавеля, пироги со свекольной ботвой, лепешки с зеленым луком и кинзой. Обычную муку покупали мешками и оставляли для больших праздников, а я любила кукурузную. И лепешки, мчади, сухие и жесткие. Нас, девочек, учили разделять куриц и бараньи туши так, чтобы собакам нечего было отдать. В десять лет я легко управлялась с промывкой бараньих кишок, умела идеально снять пленку с тестисул и спокойно наблюдала за тем, как курица, которой я отрубила голову топором, все еще бегаёт по двору. Безголовая. Потом ошпарить, ощипать. Ничего сложного. Крови я тоже не боюсь с детства. Когда у кого-то из соседей резали барашка или забивали бычка, мы все собирались посмотреть. Вот в свинине я не разбираюсь совсем. В нашем селе — а только потом, став взрослой, я поняла, что село было исторически мусульманским, редкость в тех краях — свинину никто в пищу не употреблял.

Я листала бабушкину любимую книгу тайно, не зная, можно ли мне ее брать в руки. Бабушкин секретер, в котором хранились ее рабочие заметки, блокноты, считался святым местом. К нему даже приближаться не стоило. Бабушка все книги читала с карандашом — подчеркивала, спорила с автором на полях, усеивала страницы восклицательными и вопросительными знаками. Писала заметки. В этой книге тоже они были: «Попросить у Ольги прислать материалы». Это означало, что мама должна была прислать из Москвы нужные бабушке книги. Там же между страниц лежал, как закладка, высушенный цветок. Моя детская фотография. Или не моя, а другого младенца. Открытка с поздравлением с Днем Победы со стертым, явно специально, именем адресата. Если бы я тогда могла спросить у бабушки, почему она хранит эту открытку, что значит для нее этот цветок? Но я боялась — она могла отругать за то, что я вообще дотронулась до книги. Да и книга показалась мне неинтересной — что-то про бульоны двойной крепости, которые бывают красные и белые. Я решила, что это про войну. Иначе почему бабушка так дорожит книгой?

Даже мама не знала, откуда у бабушки появилась Молоховец. Но сколько бы мы ни переезжали, бабушка не отдавала ее в местную библиотеку, как поступала с остальными книгами. Вроде бы Молоховец ей подарила женщина, которая должна была стать ее свекровью, но не случилось. Началась война.

Бабушка умерла. Мама смогла достать билеты и приехать в село лишь через три дня. К моменту ее приезда все бабушкино имущество новая хозяйка дома вынесла на пустырь и сожгла. Соседки успели вытащить несколько папок с рукописями, пару фотографий. Бабушкин любимый платок, парадные туфли. Ордена и медали еще раньше забрала Варжетхан. Как и единственный экземпляр книги, автором которой была бабушка. Про совхоз имени Ленина. Кулинарную книгу спасти не удалось, да и не думали, что она представляет особую ценность.

У меня тоже нет этой книги. Даже переиздания. Сколько раз рука тянулась к полке, чтобы ее купить. Но я так и не смогла себя заставить. Не могу объяснить, почему. Наверное, потому же, почему почти тридцать лет не решалась вернуться в село, в котором выросла. Но я, как и бабушка, люблю читать кулинарные книги. Просто так. Не потому, что хочу узнать рецепт. Меня завораживают незнакомые слова, ингредиенты, меры веса и сочетание продуктов. Это как роман, который можно перечитывать бесконечно, открывая на любой странице, и он никогда не надоест. Рецепты — это не про кухню. А про женщин, чья жизнь, или судьба, или болезнь ребенка, матери, мужа заставили выживать любой ценой. Смешивать, вываривать, процеживать, доводить, томить, прожаривать. Чтобы в конце концов сесть в одиночестве на кухне, взять кусок хлеба, натереть горбушку чесноком и есть, не чувствуя вкуса. Кто же готовит для себя?